Лит. газ. — 1993. — 24 февр (№ 8) — с. 6

3

Михаил ПРИШВИН
СОН О ГОРЬКОМ

Рисунок Натальи РАЙСКОЙ

В начале февраля исполнилось 120 лет со дня рождения М. М. Пришвина, в марте будет отмечаться 125-летие А. М. Горького

СЕГОДНЯ мне снилось, будто я иду с писателями по Невскому и с нами идет множество людей разных, как в 1917 году, во всю ширину проспекта. А Горького будто бы с нами уже нет. Мы идем, как тогда, он же, как теперь, умер лет пять тому назад. И через эту подмену времени, как постоянно бывает во сне, все происходит свободно, как в сказке.

Так вот, идем мы все без Горького, тут, вижу, пушкинист Павел Елисеевич Щеголев, толстяк и обжора вроде Крылова. К нему подбегает Алексей Николаевич Толстой, молодой человек, делающий вид, будто ему тут легко, как рыбе в воде, и шепчет Щеголеву: «Намотай на ус» (во сне это слышно). Тут же рядом Блок идет, Александр Александрович, с гордой головой, как Аполлон в колеснице. Может быть, он и услыхал что-нибудь, и слова «намотай на ус» его смешат, и он хочет улыбнуться, но лицо бледное, длинное, веки тяжелые, и трудно ему улыбаться.

Тоже и Гиппиус, Зинаида Николаевна, высокая женщина, с длинным бледным лицом и большими глазами, пробует, как Блок, улыбнуться, и тоже трудно ей, и стройная, как античный юноша, с высоты надменно бросает Толстому и Щеголеву: «Бытом пахнет от вас».

Тут же с ними и Белый идет, Борис Николаевич, не лысый, как видели его в Советском Союзе, а кудрявый с голубыми глазами и обманчиво инфантильный. Волошин, тяжелый сырой человек, с лицом невозможно широким, говорит Белому: «Нашей родине нужно теперь аполлоническое просветление». А Белый будто бы ему отвечает: «По-моему, родина — это ландшафт, и больше в этом понятии нет ничего».

В этой же группе идут следом за Гиппиус два Дмитрия: Философов, очень высокий, аристократически-собранный, губернатором бы ему быть, а не литератором, и Мережковский Дмитрий Сергеевич, маленький, но пропорционально сложенный, как Пушкин, и оттого кажется, вовсе даже не маленький.

Розанов идет, Василий Васильевич, прослывший как Иудушка Головлев, рыжий волосом, с козлиной бородкой, красный лицом, пронзительными глазками выискивает кого-то, куда-то нужно ему выглянуть между головами и не хватает роста. Приходится на цыпочки стать, глядеть сверх голов — это ему удалось, и так он идет, как на пуантах идет балерина.

Бальмонт мне привиделся совсем не таким альбатросом, как выступал он, фигурничая, на своих вечерах. Хорошим шел он человеком, скромным, застенчивым, затрудненным сложностью своих поэтических, только поэтических переживаний. На мгновенье он даже вовсе вышел из плена своих ритмов и обратил внимание на какие-то спирали на мостовой. Странного вида спирали эти вскоре собрали всех писателей.

— Через что я их вспоминаю? — повторил Волошин.

Все думали, что скорее всего это остатки каких-то снарядов, которые на днях только бросали с крыш фараоны (городовые) в борьбе с революцией.

Большинство писателей этих потому только не догадывались о пружинах, что именно приписывали им какое-то непонятное военное значение и считали своим долгом относиться к ним с уважением.

Некоторые же, пробравшись через плотную стену спин к спиралям, хотя тоже не понимали, в чем дело, но уже вперед знали, что пустяки, и смеялись над теми, кто придавал им значение. Тут стоял Федор Кузьмич Сологуб, русский колдун, представляющий видом римского сенатора, Маяковский пробивал тогда себе путь оранжевой кофтой, с ним Вася Каменский с надписью «садок судей» на колпаке из обойной бумаги. Коненков, скульптор, с утра слегка подвыпивший, шел, никогда не расставаясь со своим слугой и другом, как Дон-Кихот со своим оруженосцем.

— Нечего тут думать, мудрецы, — сказал Коненков, — Гриша, ну-ка, скажи им, откуда взялись эти спирали.

Гриша огляделся и сразу говорит:

— А вот!

И увидели мы рядом полицейский участок с выбитыми стеклами.

— А эти пружины, — сказал он, — это квартиру пристава громили и тут прямо на улице, наверно, сожгли его пружинный матрас: это не спирали, а пружины из матраса. Глядите, вон и обгорелые <1 слово нрзб.>, ах, подлецы, подлецы, какой матрасик-то был!

Тут вышел какой-то философ, не помню имя его, всмотрелся в пружины, всех кругом оглядел.

— Не может быть! — сказал он.

А Ремизов, Алексей Михайлович, маленький, сутулый до того, что почти, можно сказать, и горбун, и все в нем неправильно, как на какой-нибудь лесной шишиге, но глаза огромные, человеческие, с постоянными переменами, как погода: то страдающие мучительно, то смеющиеся, то печальные, то обрадованные:

— Не может быть, — повторил он со смехом и рассказал анекдот о каком-то посетителе зоопарка: будто бы пришел он в зоопарк, увидел слона, обошел его кругом, осмотрел внимательно и тоже сказал: «Не может быть!»

— Да, — сказал он со смехом мне потихоньку, — все такие они. Увидели матрасные пружины, а им это спирали, да так и напишут. Нет у них чего-то.

— Чего же нет? — спросил я. — Столько талантливых, есть почти гениальные, разве неправда?

— Правда, — отвечает Ремизов, — чего говорить, — есть и такие — способны душу отдать... только почему же их сбили с толку эти спирали?

Так будто бы мы все идем, идем, и к нам присоединяются все новые и новые. Клюев идет в поддевочке русской, в сектантской бороде, притворной улыбочкой умиляется галке на Казанском соборе. Сережа Есенин, как будто в ожидании каких-то событий на стороне, скучно идет и позевывает, сам золотой, как соломка сухая. Куприн шел в татарской тюбетейке, сразу видно, что не такой он дома у себя на свободе. И тоже стесненный на людях мой красивый земляк Леонид Андреев. Мандельштам петушком подпрыгивает, запрокинув ужасно гордо головку, Верховский в цилиндре и бородище с беспомощным выражением детских глаз. Горбоносый Сергей Городецкий, Брюсов, не такой бронзовый, как привыкли видеть его в обществе, а после семейного несчастья, простой, задумчивый и неизменно умный.

Вячеслав Иванов с остатками золотых кудрей, как всегда с ученейшим видом, готовый во всякое время на всяком месте развивать мудрейшую тему на любом языке живых и мертвых народов. Да и мало ли кого было из писателей... Помню Георгия Ивановича Чулкова, тоже стоял возле спиралей в полной беспомощности.

Шаляпин же, не обращая на спирали внимания, делал из мокрого снега замечательные фигурки и, сделав одну, показывал Коненкову через головы всех: до того он был высок.

— Шалуны! — сказал Ремизов.

Это слово о символистах и богоискателях в действительности не Ремизов сказал, а один мой знакомый рабочий Павел Михайлович Легкобытов. Но Ремизов, погруженный в изучение апокрифов и всяких памятников словесности, всегда был голоден на живые слова и любил, даже не спрашиваясь, прихватывать их из моего словаря.

Скульптор Голубкина, на вид простая русская старуха, какая-нибудь сказительница с Печоры, услыхав эти «шалуны», очень обрадовалась:

— Не в бровь, а в глаз, — сказала она. — Все мы чувствуем возле себя какую-то страшную правду, все боимся ей прямо в глаза заглянуть, отвертываемся, закрываемся, лелеем какую-то свою формочку, каждый по-своему, и гордимся только тем, что у каждого выходит по-своему. Шалуны, вот уж шалуны-то!

И, много раз повторяя «шалуны», смеялась добродушно, как смеются люди серьезные, не привычные к смеху.

И вот как раз в то время, как у нас шел разговор о страшной правде и шалунах, я увидел: на каком-то узорчато-чугунном балкончике стоит человек высокий, как две капли воды похожий на Горького.

— Смотрите, Алексей Михайлович, — сказал я Ремизову, — как может походить человек на человека: вылитый Горький.

— Да он же это и есть! — отвечает Ремизов.

И показывает Голубкиной, а та Чулкову, и тот скоро Волошину, очень быстро все увидели, и все очень взволнованные идут к тому балкону. Откуда-то впереди взялся Бунин, человек такого обыкновенного вида, что и не подумаешь, какой он, а когда заговорил, то сразу стало видно — человек умный и в славе своей ему просто ходить. Он стал ближе всех к Горькому и заговорил с ним первый:

— Скажите, Алексей Максимович, — сказал он, — вот мы тут все перед вами собрались и как будто все видим: настоящий ли Вы Горький, или у нас массовая галлюцинация?

После этого вопроса Горький впервые только чуть-чуть шевельнулся, и стали заметны на его щеках неправильной формы темные смертные пятна: два-три на каждой щеке — и больше ничего. Во всем остальном совсем как живой.

На слова Бунина он не улыбнулся с живостью, как с ним при жизни бывало, не сверкнул игрой голубых глаз, а спокойно ушел в себя, как с ним тоже в жизни бывало, чтобы найтись для разумного и дельного ответа. Продумав свое, он окинул всех нас рассеянным взглядом и своим обыкновенным упрямым нижегородским баском ответил:

— Вы писатели, поэты, художники, — вот вижу и ты тут, Федор Иванович. Я не понимаю, какой может быть вопрос у вас — настоящий ли я, или вам только кажется: на то вы и мастера, чтобы выдумывать. Все двадцать четыре часа в бодром и сонном состоянии выдумываете, а тут нате! Горький им показался, и вдруг о правде вспомнили!

— Молодец, Алексей Максимович, шалуны они, все шалуны, — грубым голосом ответила старуха Голубкина.

Тогда глянул я на балкон, а Горького нет.

1941 г.

Публикация
Л. А. РЯЗАНОВОЙ

48